ХОЛЛОУ-КРИК

КНИГА ВТОРАЯ

Не спи, мамочка

Она рисует живых. Мёртвыми они становятся потом



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Lim Limonka
Не спи мамочка

https://litres.ru/74738175
SelfPub; 2026

Аннотация

Клэр Донован, учительница рисования из Холлоу-Крика, перестаёт спать. Каждое утро на кухонном столе её ждёт новый рисунок: детская рука, кривые линии, знакомые лица соседей. И каждый на рисунке мёртв — по-своему.

А потом они начинают умирать. Ровно так, как нарисовано.

Клэр ставит камеру, прячет карандаши, запирает дверь в комнату дочери. Но рисунки появляются снова — подписанные именем девочки, которая сгорела в подвале больницы Святой Агнессы почти сорок лет назад. На следующем листе Клэр узнаёт свою восьмилетнюю дочь.

Она рисует живых. Мёртвыми они становятся потом.

Содержание

Глава 1. Третья ночь 4
Глава 2. Доктор Фаррел 14
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Lim Limonka
Не спи мамочка

Глава 1. Третья ночь

На третью ночь я перестала притворяться, что сплю.

Первые две я честно лежала. Ложилась в половине одиннадцатого, гасила свет, закрывала глаза и ждала. Считала овец. Считала вдохи. Считала трещины на потолке, которые знаю наизусть — их ровно одиннадцать, если считать ту, что у люстры, за две. Слушала, как в комнате Лили тикают часы с совой, которые мы купили на ярмарке, когда ей было пять. Слушала, как старый дом на Бирч-стрит вздыхает и потрескивает, остывая к ночи.

Сон не приходил.

Не так, как он не приходит, когда ты волнуешься, или выпила слишком много кофе, или думаешь о счёте за отопление. Тогда ты всё-таки проваливаешься куда-то под утро, хотя бы на час. А тут — ничего. Будто кто-то выключил во мне эту функцию. Будто сон — это комната, а дверь в неё заложили кирпичом, и я стою перед стеной и трогаю её ладонями.

На третью ночь я встала, надела халат и спустилась на кухню. Включила маленькую лампу над плитой. Сделала себе

ромашковый чай, который не пила с тех пор, как кормила Лили грудью. Села за стол.

Было 1:40.

Я не помню, что было потом.

* * *

Меня зовут Клэр Донован. Мне тридцать девять лет. Я преподаю рисование в начальной школе имени Уэнделла Холмса — единственной начальной школе в Холлоу-Крике, так что, если вам меньше одиннадцати и вы живёте здесь, вы знаете меня как миссис Ди. Я учу детей держать кисточку, смешивать жёлтый с синим и не есть пластилин. Я хороша в этом. Я люблю детей. Особенно одного.

Лили восемь. У неё мои рыжие волосы и отцовские серые глаза — единственное, что он ей оставил, кроме фамилии, которую я ей не дала. Он уехал, когда ей было полгода. Мы справляемся. Мы справляемся хорошо.

Мы живём вдвоём в узком двухэтажном доме на Бирч-стрит, в двух кварталах от Элм-стрит. Это важно. Я объясню, почему.

* * *

Потом было утро.

Вернее, потом я обнаружила, что за окном серо, лампа над плитой всё ещё горит, а чай в кружке остыл и покрылся плёнкой. Часы на духовке показывали 5:52. Я сидела за столом в той же позе, в какой села. Спина затекла. Правая рука ныла от запястья до локтя, как после долгого урока, когда я показываю у доски, как рисовать дерево, двадцать раз подряд.

На столе передо мной лежал лист бумаги.

Плотный, альбомный, формата А3 — такие я покупаю для уроков пачками по пятьсот штук и держу в кладовке под лестницей. Рядом лежали карандаши. Мои рабочие, профессиональные, «Кох-и-Нор», от 2H до 8B. Все они были сточены почти до основания. Огрызки длиной с фалангу пальца. Вокруг них на клеёнке — горка графитовой стружки и древесных завитков. Точилка лежала открытой.

Вечером эти карандаши были новыми. Я купила набор в субботу.

Я посмотрела на лист.

Это был рисунок. Хороший рисунок — я говорю это как человек, который двадцать лет учил других рисовать и знает, что такое хорошо. Лучше, чем я умею. Гораздо лучше. Штриховка была плотной, тонкой, почти фотографической. Свет падал откуда-то слева и сверху, как от лампы на длинном проводе.

На рисунке был мужчина.

Пожилой, лысоватый, в очках на цепочке. Он сидел в зубоврачебном кресле — откинутом, с подголовником, с лам-

пой на кронштейне, — но сидел неправильно. Голова запрокинута слишком сильно, назад и вбок, так сильно, как не запрокидывается голова у живого человека. Рот распахнут. Руки свешиваются с подлокотников до самого пола, и пальцы у них — волосатые, толстые пальцы — растопырены.

И глаза.

Глаза у него были заштрихованы. Не нарисованы — именно заштрихованы, густо, крест-накрест, мягким 8B, так что на их месте остались две чёрные, блестящие от графита ямы. Штрих лёг так плотно, что бумага в этих местах продавилась и лоснилась.

В правом нижнем углу листа, там, где я учу детей подписывать работы, стояла подпись. Корявыми печатными буквами, с обратной «Н», как пишут первоклашки:

«СЭНДИ, 7 ЛЕТ».

* * *

Я узнала этого человека не сразу. Минуты через две.

Доктор Фаррел. Наш стоматолог с Чёрч-стрит. Он лечил Лили молочные зубы и дарил ей наклейки с динозаврами. Он лечил и меня, хотя я не была у него года три — всё некогда. У него привычка напевать что-то из «Битлз», когда он сверлит.

Я отодвинула рисунок от себя, как отодвигают тарелку с чем-то испорченным.

Ну хорошо, сказала я себе. Хорошо. Ты не спала тре-

тью ночь. От бессонницы бывают провалы — ты читала об этом вчера в интернете, в два часа ночи, когда ещё пыталась уснуть. Ты сидела, и твоя рука сама по себе делала то, что делала двадцать лет. Рисовала. Ты художник, Клэр, у тебя это в мышцах. Мозг отключился, а рука — нет.

А почему Фаррел?

Ну, он же в новостях. Все про него говорят. Это он, как сказала Мэри-Энн из закусочной, первым заметил «что-то неладное с этим тихоней Грином», ещё за неделю до всего, и рассказывал об этом каждому, кто сел к нему в кресло. Он на слуху. Вот рука и нарисовала то, что было на слуху.

А глаза? А «Сэнди»?

Я встала, взяла рисунок за угол и сунула его в ящик под мойкой, к пакетам для мусора. Карандашные огрызки смахнула в ведро. Протёрла клеёнку влажной тряпкой — графит размазался серыми полосами, и я тёрла, пока они не исчезли.

Потом я посмотрела на свои руки.

Правая была серой до запястья. Графит въелся в складки ладони, под ногти, в кожу на ребре ладони, где она касается бумаги. Так бывает у художников после многих часов работы.

Часов.

Я не помнила ни одной минуты.

* * *

Сэнди.

Я не думала об этом имени тридцать лет. Даже больше. Оно всплыло из такой глубины, что в первую секунду показалось чужим, — и только потом я его узнала. Как узнаёшь запах детского мыла, которым мама мыла тебе голову.

Когда мне было шесть, у меня была подружка, которую никто не видел. Её звали Сэнди. Она была на год старше меня — ей всегда было семь, даже когда мне исполнилось восемь, а потом девять. Мама говорила, что так бывает у одиноких детей, и что это пройдёт. Оно прошло. Я не помню когда. Я помню только, что Сэнди не спала. Никогда. Она сидела ночью на краю моей кровати и сторожила, пока я сплю, и рисовала мне картинки, чтобы утром я нашла их у подушки.

Картинок, конечно, никаких не было. Я рисовала их сама и забывала. Мама так говорила.

Мама говорила много чего. Мама умерла четыре года назад, и спросить её уже нельзя.

* * *

В 7:15 спустилась Лили — в пижаме с совами, взлохмаченная, с отпечатком подушки на щеке. Она вошла на кух-

ню, увидела меня и остановилась в дверях.

— Мам, — сказала она. — Ты опять не ложилась?

— Ложилась, солнышко. Просто рано встала.

Лили посмотрела на меня своими отцовскими серыми глазами — внимательно, как смотрят дети, которые давно привыкли быть взрослее, чем надо.

— У тебя лицо серое, — сказала она. — И руки.

Я спрятала руки под стол.

— Хлопья или тосты?

— Хлопья, — сказала Лили, забираясь на стул. И, уже наливая молоко, добавила как будто между делом: — Мам, а кто такая Сэнди?

Молоко перелилось через край тарелки. Я смотрела, как белая лужица ползёт по клеёнке к краю стола.

— Где ты это слышала?

— Ты ночью говорила, — сказала Лили. — Я спустилась попить, а ты тут сидела и рисовала. Я тебя позвала, а ты не повернулась. И сказала: «Сэнди занята, иди спать». Только голос был смешной. Как будто маленький. — Она подумала. — Ты не моргала, мам. Вообще.

Молоко добралось до края стола и закапало на пол. Кап. Кап. Кап.

— Я, наверное, задремала, — сказала я. — И разговаривала во сне. Так бывает у взрослых.

— А, — сказала Лили и принялась за хлопья.

Она поверила. Ей восемь. Она пока ещё верит мне во

всём.

* * *

Я проводила её до школьного автобуса — жёлтого, облезлого, с водителем мистером Ортегой, который всегда машет детям рукой в перчатке без пальцев. Туман в то утро был густой, ноябрьский, такой, что автобус вынырнул из него в десяти шагах, как кит из воды. Лили забралась внутрь, помахала мне в окно.

Автобус ушёл, а я осталась стоять на углу.

Отсюда, если посмотреть налево, видно Элм-стрит. Две недели назад вся улица была заставлена машинами: полиция штата, коронер, два фургона с телевидения из Бангора и даже один из Портленда. Сейчас машин не было. Остался только дом — старый, двухквартирный, серый, с ржавыми качелями на заднем дворе. На его крыльце и сейчас висела жёлтая лента, мокрая и провисшая. Ветер шевелил её, и она хлопала, как мокрое бельё.

Миссис Холлоуэй я знала. Не близко — так, как в маленьком городе знаешь всех. Каждый год на рождественской ярмарке она продавала пироги, и Лили всегда выбирала яблочный с корицей. Её нашли в её собственной спальне в воскресенье утром. Что именно нашли, в газетах не писали. Писали «тело». Писали «следы насилия». Мэри-Энн из закусочной писала больше — то есть говорила, — но я ушла, не дослу-

шав.

Её соседа, Уолтера Грина, так и не нашли. Бухгалтер. Тихий. Я пару раз видела его в аптеке и не могла бы описать его лицо, даже если бы мне за это заплатили. Полиция нашла у него дома тетрадь — так говорили. И морозилку. Про морозилку говорили шёпотом.

Весь город две недели говорил шёпотом.

Я стояла на углу, смотрела на жёлтую ленту и думала, что, наверное, поэтому я и не сплю. Это ведь логично. Два квартала. В двух кварталах от моей дочери жил человек, который... Любая мать перестала бы спать. Любая мать по ночам сидела бы на кухне и слушала, не скрипнет ли крыльцо.

Это логично, Клэр. Всё это логично.

Я пошла домой. В доме было тихо. Я открыла шкафчик под мойкой, чтобы выбросить вчерашний мусор, и достала из ящика рисунок. Хотела порвать его и не смогла. Положила на стол. Посмотрела ещё раз.

Зубоврачебное кресло. Запрокинутая голова. Чёрные ямы глаз.

На рисунке был ещё один предмет, которого я в первый раз не заметила. На подносе с инструментами, рядом с креслом, среди зеркалец и пинцетов, лежал маленький белый предмет с длинным розоватым корнем, похожим на сосульку.

Зуб.

Под рисунком, совсем мелко, той же корявой детской ру-

кой, была выведена ещё одна строчка. Я разобрала её только у окна, на свету.

«ОН ВИДЕЛ ЧЕТВЁРКУ».

Я не знала, что это значит.

Тогда — ещё не знала.

Глава 2. Доктор Фаррел

Четвёртую ночь я не спала тоже. И пятую.

Я перестала ложиться. Это было даже легче: не нужно лежать в темноте и слушать, как тикает сова в комнате Лили. Я сидела в гостиной перед выключенным телевизором, укрывшись пледом, и пыталась читать. Буквы стояли на странице ровно и послушно, но не складывались в слова — каждое приходилось брать отдельно, как камешек, рассматривать и класть обратно. К утру я осилила полторы страницы.

Рисунков больше не было. Я проверяла. Каждое утро первым делом шла на кухню и смотрела на стол. Пустой. Чистая клеёнка, сахарница, банка с карандашами — я купила новые, дешёвые, школьные, и пересчитала их, двенадцать штук, все одинаковой длины.

Все двенадцать каждое утро были на месте. Той же длины.

Я почти успокоилась.

* * *

На работе я держалась. Двадцать лет преподавания учат держаться: ты можешь болеть, развестись, похоронить мать, но в 8:30 ты стоишь перед двадцатью второклассниками, и у тебя ровный голос, и ты знаешь, где лежат влажные салфет-

ки. Дети ничего не замечали. Почти.

— Миссис Ди, — сказал Тайлер Брукс, рыжий и веснушчатый, во вторник на уроке, — у вас глаза красные. Вы плакали?

— Нет, Тайлер. Аллергия.

— На что?

— На вопросы, — сказала я, и класс засмеялся, и Тайлер тоже, и мы пошли дальше рисовать осенние листья.

Учительская в нашей школе — это маленькая комната с кофемашиной, которая работает через раз, и диваном, на котором никто никогда не сидит, потому что на нём однажды стошнило завуча. Во вторник в обед я стояла у кофемашины и ждала, пока она соизволит налить мне чашку, а за спиной Барбара Уилкс, учительница третьего класса, рассказывала Дженис из библиотеки новости.

— ...говорят, его даже по телевизору показывали, в Портленде. Фаррела. Он теперь главный свидетель. Ходит и всем рассказывает, как он этого Грина насквозь видел ещё тогда, когда тот приходил с зубом.

— С каким зубом?

— Ну, у Грина выпал зуб, здоровый, вот так взял и выпал. А Фаррел ему говорит: «Вы что, кости грызёте?» Шутил, понимаешь? А тот, оказывается, и правда... — Барбара понизила голос. — И ещё Фаррел говорит, у этого Грина на руке была отметина. Вот тут. Номер, говорит, как у скота. Говорит, он сразу понял, что дело нечисто, и полиции всё

рассказал, и газетчикам рассказал. Он теперь знаменитость.

Кофемашина зафыркала и выплюнула в мою чашку коричневую струйку. Я смотрела на неё и не двигалась.

«ОН ВИДЕЛ ЧЕТВЁРКУ».

— Клэр? — Барбара тронула меня за плечо. — Ты в порядке? Ты вся белая.

— Не выспалась, — сказала я.

* * *

В среду утром я проснулась.

Это первое, что я поняла, — что проснулась. Значит, спала. Впервые за пять ночей. Я лежала в своей кровати, под одеялом, в пижаме, и за окном было светло — по-настоящему светло, не серо, а бело. Часы показывали 8:40.

Я проспала. Лили опоздала в школу. Я рывком села.

И почувствовала, как болит правая рука. Не ноет, как после урока, а болит — тяжело, тупо, от кончиков пальцев до плеча, как болят мышцы после того, как весь день таскаешь мебель. Я подняла руку и посмотрела на неё.

Она была чёрной. Не серой, как в прошлый раз, а чёрной до самого локтя, как будто я окунула её в сажу. Под ногтями — чёрные полумесяцы. Кожа на ребре ладони стёрта до красноты.

На одеяле, на подушке, на простыне лежали угольные крошки.

Я спустилась на кухню, держась за перила.

Лили сидела за столом в школьной кофте и ела хлопья. Сама. Она подняла голову, когда я вошла, и сказала очень спокойно, как говорят взрослые в больнице:

— Я тебя будила, мам. Ты не просыпалась. Я позвонила миссис Уилкс, она сказала, что тебя заменят. И я пропущу первый урок, ничего страшного, она сказала.

— Солнышко...

— Я сама сделала хлопья, — сказала Лили. — И не трогала твои рисунки. Они там. Я на них не смотрела.

Она показала ложкой на кухонную стойку.

Там лежали листы. Не один — пять. Аккуратной стопкой, выровненной по краю, как я учу детей складывать работы в конце урока. Рядом — коробка угля для рисования, которую я держала в кладовке для старшеклассников из летнего лагеря. Коробка была пуста.

На всех пяти листах был доктор Фаррел.

Я раскладывала их по стойке трясущимися руками, один за другим, и с каждым листом мне становилось всё холоднее, как будто я заходила в воду.

Фаррел в своём кабинете, со спины, у окна. Вечер — за окном темно, жалюзи опущены наполовину. Он один.

Фаррел у стерилизатора. Он оборачивается, будто услышал что-то. Дверь кабинета за его спиной приоткрыта, и в щели — темнота.

Фаррел в своём кресле, том самом, зубоврачебном. Он си-

дит в нём сам, как пациент. Почему-то сидит сам. Руки на подлокотниках. Рот открыт. Он смотрит куда-то вверх, на лампу.

На четвёртом листе были только руки. Крупно. Волосатые, толстые пальцы Фаррела, а между ними — его собственные щипцы. Те, которыми он удалял зубы. Щипцы держали что-то маленькое и белое.

На пятом листе был тот же рисунок, что и в первую ночь. Запрокинутая голова. Распахнутый рот. Руки до пола. Чёрные заштрихованные глаза.

Только теперь рот был нарисован подробно. Очень подробно. Я разглядела, что в нём нет зубов. Ни одного. А на подносе у кресла лежали они все — аккуратно, рядками, корнями в одну сторону, как я учу детей раскладывать кисточки.

Внизу листа: «СЭНДИ, 7 ЛЕТ».

И ниже: «ОН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ».

* * *

Я отвела Лили в школу к третьему уроку. Я улыбалась учительнице и говорила «мигрень». Потом я вернулась домой, собрала все пять листов и сожгла их в раковине. Бумага была плотной и горела плохо, чадила, и я жгла её по частям, спичка за спичкой, пока раковина не почернела, а кухня не наполнилась запахом гари.

Запах был знакомым.

Я не знала откуда. Я стояла над раковиной, и мне казалось, что я вот-вот вспомню — кафель, хлорка, гарь, — но мысль ускользала, как сон, который пытаешься удержать после пробуждения.

Потом я позвонила в кабинет доктора Фаррела.

Я не знала, что скажу. Что я рисую вас мёртвым? Что вам надо уехать из города? Что вам нельзя оставаться одному по вечерам? Я держала трубку и слушала гудки и придумывала, как это скажу, чтобы меня не сочли сумасшедшей.

Трубку взяла его медсестра, Глория.

— Кабинет доктора Фаррела.

— Здравствуйте. Это Клэр Донован. Я... мне нужно поговорить с доктором. Это срочно.

Пауза. Долгая пауза.

— Вы не слышали? — сказала Глория. Голос у неё был странный, сиплый, как будто она долго плакала. — Доктор Фаррел умер. Сегодня ночью. Его нашли утром, здесь, в кабинете. Я его нашла.

Я села на пол кухни, прямо там, где стояла.

— Как? — спросила я. Голос вышел чужим.

— Полиция говорит, ему стало плохо, — сказала Глория. — Сердце. Он сидел в кресле. В своём кресле, понимаете? Зачем он сел в своё кресло? Он в нём никогда не сидел. Он... — Она всхлипнула. — Простите. Простите, мне нельзя рассказывать. Полиция сказала, нельзя.

— Что нельзя?

Глория молчала. Я слышала, как она дышит.

— Его зубы, — сказала она наконец очень тихо. — Они лежали на подносе. Все. Рядками. Будто он сам... Будто он сам их... Господи. Господи, зачем я вам это говорю.

Она повесила трубку.

* * *

В четверг в «Холлоу-Крик Газетт» вышла заметка. Маленькая, на четвёртой странице, рядом с рекламой распродажи шин. «Скоропостижно скончался доктор Леонард Фаррел, 64 года, много лет практиковавший в нашем городе. Причина смерти устанавливается».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.